

Леонид ШЕЛУДЬКО

УШЛО СЕГОДНЯ ВО ВЧЕРА

БЫТЬ РУССКИМ

Опять на нас косятся нервно:
«Опять Россия не права!».
Я россиянин, это верно.
Но русский всё-таки сперва.

Я русский. Мне светло и грустно.
Я грусть мою устал скрывать:
быть нелегко в России русским.
Быть, а не просто проживать.

От ноши этой я старею,
но тем душа моя живёт,
что даже нашенских евреев
загранка русскими зовёт.

Пока я есть на белом свете,
со мной и радость, и беда
быть русским.
Быть за всё в ответе.
За всех. Во всём. Везде. Всегда.

* * *

Я прожил так, а не иначе.
Был сад мой зелен, нынче жёлт.
А в нём несбывшееся плачет
и неизведанное ржёт.

У них двоих свои досады.
К моим делам они глухи.
По своему иду я саду,
я собираю в нём стихи.

А под несбывшегося всхлипы,
под неизведанного свист –

в лицо – оборванный, как хиппи,
как я, такой же рыжий лист.

* * *

С добрым утром, каменья Эллады,
волны нежные, жаркий песок,
англичанок надменные взгляды
из отельчика наискосок.

С добрым утром, почтенные греки,
всемером за бутылкой воды.
Не сыскать в туристической мекке
мне царя Леонида следы,

но понять обязательно надо,
с вами, греки, в какой я родне,
отчего это имя – Эллада –
русским «лада» поётся во мне.

* * *

На руинах царственных Микен
каждый день одно и то же действие.
Неужели я у этих стен
отыскать хочу дорогу в детство...

Там, за огородом, за бугром,
там, за штабелями лесосклада,
там, за покосившимся копром¹ –
начиналась Древняя Эллада.

* * *

Через час войду я в самолёт.
Побежит машина тяжело,
от земли колёса оторвёт –
и уйдёт под белое крыло

что-то, кроме моря и олив,
кроме зачарованных дворцов,
как уйдёт от берега отлив,
как уйду и я в конце концов.
Всё уйдёт, всему настанет срок,
но опять, в любви своей вольна,

¹ копёр (шахтный) – сооружение над стволом шахты

поцелует золотой песок
вставшая на цыпочки волна.

* * *

Мои прежние «я»,
что остались, где жил я подолгу,
мои прежние «я»,
я у вас в неоплатном долгу,
мои прежние «я»,
добавляя к текущему долгу,
я уеду сейчас,
я остаться уже не могу.

Вам причуды мои
все известны, а как же иначе,
и ошибки, увы,
и что их у меня – по края.
Вот и всё, и такси,
пожелайте мне, братцы, удачи,
я ваш верный солдат
до последнего нового «я».

АИД

Жетон опускаю
в голодный роток турникета.
Спускаюсь в Аид.
Эскалатор едва освещён,
рогатая тётка
в компании с дядькой клыкастым,
рекламой чего-то прикинувшись,
смотрят и ждут.

Ещё я не ваш.
В униформе подземного царства,
брутальный Харон
подгоняет к причалу ладью:
стремнинами Стикса
добраться до центра быстрее,
чем в пробках унылых
покорно плестись наверху.

Аид это знает.

Аид деловит и расчётлив.
Рогатая тётка и дядька клыкастый,
пока.

Ваш босс – бизнесмен,
как и все современные боги.
Пока я плачú –
я Аиду нужнее живым.

* * *

Облетела листва,
посветлели аллеи.
Облетают слова.
Стали чувства светлее.

Приморозит, и вновь
будет пусто и голо,
не простуда – любовь
стиснет хрипкое горло

к этой странной земле,
но никто не увидит.
На холодной заре
солнце в варежках выйдет.

* * *

Ушло сегодня во вчера,
задув огни пятиэтажек;
уснул аквариум двора,
и ветер спит, и снег, и даже
дежурный свет внизу, вон там,
ему, двору, всего лишь снится.
Берёзам спится и кустам,
и старой лиственнице спится;
ветвями их затенены,
машины рыбами лоснятся
на дне аквариума; сны,
наверное, им тоже снятся.
И вдруг заплакал фордик, но
через секунды в доме сонном
зажглось над маленьким окном
и кто-то встал в стекле оконном:
«Спи, мой хороший».

В тишину
закутались остатки света,
и потемневшему окну
моргнула чья-то сигарета.

Ещё твержу себе я: «верь»,
судьбы нащупывая стремя,
но мама умерла, теперь
меж мной и смертью только время.

НОЧНОЕ

Река баюкала звезду.
Бронзоволикие, как боги,
сидели люди на мосту,
к воде босые свесив ноги,

пока не рассвело, пока
не поостыли пьедесталы.
Звезду баюкала река
и что-то нежное шептала,

к заливу плёлся лёгкий бриз,
по-над землёй виденья плыли,
а рядом кони Клодта из
ночной Фонтанки воду пили.

* * *

Март в Сибири – приёмьш зимы.
Не беглец, не изгнанник, а просто
сапогам предпочётший пимы,
заплутавший в метели подросток.

И тревожно ему, и легко,
и к опасности сердце оглохло.
У него на губах молоко
может, в этой метели обсохло.

– Ты о ком это? – спросите вы
педагогом в преддверье отметки.
О себе. Я приёмьш Невы,
лист Сибири, сорвавшийся с ветки.

ТРИ ВОЗРАСТА ОДИНОЧЕСТВА

1

Выкрасить волосы, выбрить виски,
брюлик в ноздрю, на запястья тату –
зверь одиночество спрячет клыки
и убежит в темноту.

2

Когти тату отдираю от рук.
Что же со мною не то и не так,
зверь одиночество, злобный мой друг,
зверь одиночество, добрый мой враг?

3

Ночь вычитают часы за стеной,
стынет звезда бесприютно в окне,
зверь одиночество, тёплый, ручной,
жмётся к ногам и вздыхает во сне.

НОСТАЛЬГИЯ

Висят на доме перетяги,
что завтра выдадут ключи.
По дому ходят работяги,
с него роняют кирпичи.

Они летят и вкривь, и прямо,
стремясь в полёте не задеть
людей, пришедших слишком рано
ключом от счастья завладеть.

А работяги матом кроют
плакату верящий народ
и строят, строят, строят, строят,
а не совсем наоборот.

Ведь счастье в собственной квартире –
пожалуй, главная из вер,
и мне всего двадцать четыре,
но я живу в СССР.

ОСЕНЬ НА СЕРЕБРЯНОМ ПРУДУ

Утиный беспредел
в Серебряном пруду.
Сейчас я не у дел,
а просто так иду.
На берегу сажусь
вблизи утиных брызг.
Я перелётный гусь,
я улетаю вдрызг.
Кленовых звёзд парад.
Прозрачно всё насквозь.
Чему я, глупый, рад?
Тому, что на «авось»
я всё-таки дорос
до этого пруда.

Валяется вопрос:
«А дорасту – куда?».

ДАРВИНУ

У меня в душе одни изъяны.
Я поэт, но звать меня никак.
Я произошёл от обезьяны
и родня мартышек и макак.

Пожалели инопланетяне
на поэта генов и труда.
То-то на «верхи» меня не тянет.
Только на деревья иногда.

ТАЙНА

Петербург окружён Ленинградом.
Ограничен, окутан, объят.
К петербургским ажурным оградкам
прижимаясь, высотки стоят.

Что один для другого, гадаю –
скорлупа, под которой ядро?

И опять Петербург осаждаю,
восходя ленинградским метро.

Я вхожу в петербургскую морось,
я иду вдоль ажурных оград:
пальцы в пальцы, ладонями порознь,
Петербург с Ленинградом стоят.

Может, глупо всё это и странно,
только снова я думать готов
не над тайною двух океанов,
а над тайною двух городов.

Пьёт в кафешках, гоняет по КАДу
и смеётся, небось, надо мной
Ленинград, переживший блокаду,
в Петербург упираясь спиной.

* * *

Наташе

Мы жили с тобой,
как будто у нас
помимо одной –
пять жизней в запас.
Сжигали мосты,
меняя края:
«Мой дом – это ты.
Твой дом – это я».

И вот на двоих
испили до дна
пять жизней своих.
Осталась одна.
Среди суеты,
вражды и вранья –
мой дом – это ты,
твой дом – это я.

Распахнута дверь,
раскрыто окно.
Что будет теперь,
не всё ли равно?

В блёстках утреннего хрустала
начиналась родная земля.

АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ

Апрельский снег упал,
и слякоть
принёс, а больше ничего.
И даже некому заплакать
над странной участью его:

ну не курьёз такое разве –
с небес торжественно сойдя,
стать пищей для подсохшей грязи,
эрзацем первого дождя?

А все мы родом из России,
где не щадят ни миг, ни век
несвоевременно красивых,
незванных, как апрельский снег.

* * *

Всю боль мою взяла больница,
взяла – и выпила до дна.
А мне всё снится, снится, снится:
от боли бледная луна,
забытой капельницей цапля
стоит тихонько в уголке
и слышно, как за каплей капля
стекает время по щеке.
Закрыта боли той страница,
стреляет почками весна.
Всю боль мою взяла больница.
Как с нею справится она?

ЯБЛОНЯ

Мне замшелая яблоня в старом саду
протянула корявой от старости веткой,
словно Бабы-яги пятернёй крючковой,
ароматное яблоко цвета зари.

Вдруг уснула секундная стрелка часов,
время ойкнуло, смылось в бурьян у забора,
и скользнула – а может, скользнул – из бурьяна
неизвестной породы змея или змей.

Плыл от яблока запах нездешних садов.
Чуть светилось на кожице слово «каллистэ»,
посвященье «прекраснейшей», этим являя
дар корыстный Париса богине любви.
Афродита ль прикинулась Бабой-ягой,
или так изменилась, блуждая по свету,
когда сдался Олимп под напором неверья,
из бывшего беглянка, богиня любви?

Но три тысячи лет сберегала она
не надкушенным яблоко, и возвращала
плод раздора, изгнанье богов переживший.
Что в себя он вобрал за три тысячи лет?
Мифы Греции Древней толкались во мне,
толковали: «Возьми», умоляли: «Не надо!»,
и упало, меня не дождавшись, на землю
ароматное яблоко цвета зари.

Гневно дёрнула веткой на это она
и вlepила в лицо мне пощёчину листьев.
«Этo ветер, – придумал я, – ветер, и только!» –
поклонился и поднял пленительный плод.

И проснулись часы. Я подарок унёс,
разломил, и любимой отдал половину,
умолчав, как вослед из травы ухмылялся
неизвестной округе наружности змей.
«Ай да яблоко», – нежно шептала она
до рассвета на душных измятых подушках.
Наши окна от наглой луны заслоняла
Афродита ли, яблоня, Баба-яга.

* * *

Старых яблонь вздетые ветки
до конька доставали с трудом.
Двухэтажный, осанистый, крепкий
внуки продали дедовский дом.
Забирали последние вещи,
вплоть до детских игрушечных ванн.
Пустота обозначила резче
среди дома старинный диван,

весь затянутый в чёрную кожу,
как в перчатку мужская рука.
«Это дедов, – сказали мне, – может,
пригодится он вам на пока».
Может быть.
Пожелали успеха,
хлопнул вечер пружиной дверной,
и пошло осторожное эхо
по притихшему дому за мной.

Ночь расправила звёздное ложе,
засветила луну на краю.
На диван поглядел я, но всё же
раскладушку поставил свою.
Среди ночи проснулся от взгляда.
В окна дома просилась луна,
кто-то был в полутьме, но не рядом.
На диване. В углу. У окна.
Полутьма там копилась, густела,
темнотой становилась, и та
обретала подобие тела.
И глядела она, темнота,
без упрёка, спокойно и веско:
«Кто такой и откуда здесь ты?».
Я рванул от окна занавеску,
и не стало в углу темноты.

Это я. Я иду ниоткуда.
Как и ты, я уйду в никуда.
Мне, конечно же, хочется чуда.
Но не будет его, вот беда.
Потому –
то гонюсь за судьбою,
то пылинкой скольжу по лучу,
оставляю следы за собою,
а чужие топтать не хочу.
Сигарету последнюю выну,
посажу у окна на полу.
Но сперва занавеску задвину,
чтобы вновь потемнело в углу.

АМОРАЛЬНЫЕ СТИХИ

Мораль вы здесь отыщете едва ли:
она в сторонке пишет кренделя.

На кухне два стакана проживали.
Один, из дорогого хрустала,
вольготно восседал на верхней полке.
За ним лежал сушёный таракан.
В компании плиты и кофемолки
внизу Гранёный поживал стакан.
Гранёного на кухне привечали.
Он знал и рук тепло, и нежность губ,
его поили водкою и чаем,
он слыл мерилom жидкостей и круп,
и как-то раз молоденькая Астра
всю ночь в его объятиях была.
«Да, я звезда, – она шептала страстно, –
но наша звёздность – наша кабала...».
«Не комильфо», – сказал, узнав об этом,
стакан Хрустальный утром свысока.
Он почитался снобом и эстетом,
ценителем бегов и коньяка.

Таких больнее проза жизни ранит.
Хозяйке нужен был стакан муки,
её Гранёный оказался занят,
и вот одним движением руки
Хрустальный наш опущен и понижен
в разряд мерила жидкостей и круп.
Вы думаете, этим он обижен?
Его обиду возведите в куб.
На вынос мозга и души на вынос,
как в муку, окунулся он в муку
и с первою мукой из муки вынес
решительное злое: «Убегу!».
И убежал.
Душа его летела,
простор свободы распахнулся, гол,
и за душой не поспевало тело.
Хрусталь искрился, приближался пол.

Совок и Щётка молча подобрали

осколки бедолаги Хрусталья.
В осколках этих вовсе нет морали.
А если есть – не стоит и рубля.

* * *

Зелёный старенький вагон.
Печаль ночного перегона.
Звезда, летящая вдогон,
не отставая от вагона.
Струится холод из окна,
и одеяло от болтанки
сползает на пол. И луна,
и фонари на полустанке,
полночный бег, забытый стог,
луной облизанные ели,
и чей-то плач, и грустный Блок:
«...в зелёных плакали и пели».
Иные могут не понять
такой размах, такие дали,
иные могут попенять
и попинать, понять – едва ли
зелёный старенький вагон,
печаль ночного перегона,
звезду, летящую вдогон,
не отставая от вагона.

***В декабре у Леонида Николаевича Шелудько – юбилей.
Редакция нашего журнала от всей души поздравляет его
с семидесятилетием и желает творческих успехов!***